

## ПУТЬ В ИСКУССТВО

И. МАШКОВ



И. И. Машков в студенческой форме Московского училища живописи, ваяния и зодчества. 1901—1903 гг.

*Публикуемые отрывки из воспоминаний И. И. Машкова «В своих краях», написанных им незадолго до кончины, представляют несомненный интерес для нашей художественной общественности. Выходец из народных «низов», И. И. Машков начал свой творческий путь в годы реакции с «левацких экспериментов», став одним из зачинателей «Бубнового вальса» в 1909 году. Впоследствии он перешел на реалистические позиции и уже после Великой Октябрьской революции создал ряд выдающихся произведений живописи, главным образом — натюрмортов.*

*Путь И. И. Машкова в искусство был сложным и многотрудным. Об этом он картинно и обстоятельно рассказал в своих воспоминаниях. Этот путь во многом почителен для нашей творческой молодежи.*

*Характерно, что в клеветнической статье о состоянии советского изобразительного искусства американского журналиста Александра Маршака, опубликованной журналом «Лайф», имя И. И. Машкова упоминается в связи с тем, что этот блестящий мастер-новатор якобы изменил «подлинному искусству», превратившись из цюгждения в примитивного реалиста. Записки И. И. Машкова показывают истинные корни реализма в его творчестве, его глубочайшие связи с народом и его культурой и помогают понять, что утверждения, подобные высказанному А. Маршаком, есть не что иное, как образчик критического недомыслия, если не заведомая клевета на русского живописца*

В. Перельман

Из этой книги многие поймут такое, чего они еще не знают и что знаю теперь я. Следует понять основное — и эту задачу я преследую, — что ничто великое и грандиозное не приходит само и не дается людям даром.

Помню, в раннем детстве я часто ездил в станицу Михайловскую, которая производила на меня впечатление города. Ездили родители, конечно, в праздничные дни. Меня поражали железные крыши домов, которые начинали «гореть» от самых Частых курганов. В станице было шумно.

Останавливались мы всегда, конечно, у бабушки. Я не любил бывать у родственников отца, у дяди Филиппа Семеновича. Во всяком случае, был равнодушен к богатому дяде, у которого в доме царил благолепие, порядок и чистота. Родственники матери — Андреевы — были мне ближе. Тут делались всякие интересные вещи. Дядя Никита Степанович рубил, строгал, долбил. Из-под его рубанка вились чистые, свежие, пахнущие смолой стружки. Часами я мог стоять рядом с верстаном и наблюдать за однообразными движениями дяди. Для меня они казались необычайно занимательными.

Именно этим влиянием на мое воображение труда дяди, представлявшего из себя смену самых удивительных для меня процессов, и объясняется мое страстное влечение к технике. Что могло быть занятным для ребенка в доме дяди-торговца? Ничего. А здесь... здесь был целый мир действий, движений, звуков. И уже в те времена я отлично ориентировался во всей наличной технике. Я знал уже в раннем детстве, как надо делать змей с трещоткой, пытался делать даже скрипки, сначала с конским волосом, а потом и с кишечными струнами. Не зная, не видя никогда даже на картинках настоящих кораблей, я умудрялся делать их, создавая их вероятные формы силою воображения. Одновременно начал проявлять склонность к зарисовыванию. Эту мою страсть пронес сквозь все испытания, которые сулила мне жизнь. Ее я донес до настоящего времени. Еще сейчас, идя мимо витрин технических магазинов, не могу равнодушно проходить мимо, не постояв около них и не осмотрев всех выставленных инструментов, станков и машин.

Рядом с техникой меня начало занимать и рисование как образное отражение этой техники. Ни в чем другом, как в этом, я не был страшно упрям и упорен. Я вообще по натуре был мальчишкой спокойным, невозмутимым и упорным в достижении поставленных целей. Все мои устремления сосредоточивались на изобретении и делании каких-нибудь деревянных сооружений и игрушек. Меня не тянуло ни к лазанию по чужим огородам, чем увлекались мои сверстники, казачата, ни разорение вороньих гнезд. Я часами простаивал около колеса водяной мельницы, наблюдая за его ритмическим поворачи-

ванием, вникая в сущность двигателя, стараясь прочно запечатлеть составные части, чтобы соорудить его потом самому. Мне, видимо, был приятен даже самый шум воды. Белые кудряшки пены, кипевшие внизу за колесом, восхищали меня. При всем том я был страшно вспыльчив и горд. Подстегнутое гордостью, самолюбием мое упорство не знало предела. Уже в то время у меня начало развиваться внутреннее убеждение — «я все могу сделать». В одном только я был ленив и неповоротлив — в школьной учебе.

Я спрашивал дядю Никиту, как делают иконы, он с усмешечкой рассказывал о живописцах. Сначала живописец делает набросок мелом, а уж потом берется за краски. Помню, меня это особенно заинтересовало. Я попытался сам мелом начертить икону Николая Чудотворца. Оригиналом служила икона, на которую когда-то сел отец, раздавив ее. Но красками я пользоваться еще не умел, да и не было их у меня, и не знал, где их достать, как сделать.

...Когда мне шел одиннадцатый год, я особенно начал увлекаться рисованием. У меня возникало чувство соревнования. Я видел, как мой сверстник, сын соседа-торговца, рисует лошадь со всадником; у всадника в руках пистолет. Меня поражало, как это ловко получается. Придя домой, начинал тоже рисовать и старался при этом рисовать лучше его. Сын попа умел хорошо сводить картинки. Начинать сводить и я. И основное чувство, которое руководило мною при этом, было желание превзойти их. Этот дух у меня сохранился и потом.

Немало способствовал развитию во мне способностей к рисованию мой сычевский учитель... Он сам любил рисование и увлекался им. Несмотря на мои более чем посредственные успехи в школьных науках, он ко мне благоволил именно вследствие того, что обнаружил эту склонность. Началось это так. Будучи хорошим знакомым моих родителей, он задумал нарисовать две иконы: святого Иоанна и святой Анастасии. А однажды принес написанную им икону пророка Ильи. Я смотрел и не верил, как это он мог так изобразить! Иконописцы всегда были в моем представлении людьми священными. Я и подумать не смел, что «лик божественный» может нарисовать простой смертный. Это оказалось вполне возможным. Любопытно, страшно любопытно! А что, если попробовать скопировать. У меня к этому времени начали водиться деньжонки. Их дарили приезжие, знакомые, иногда отец или мать давали 5—10 копеек. И на эти деньги я начал покупать фуксину, так назывались тогда анилиновые краски.

Начав с копирования иконы, перешел к фантазии. Больше всего эти фантазии носили архитектурный характер на церковные темы. У меня скопилось масса таких рисунков. Тут были всевозможные, какие только я мог придумать, типы





И. М а ш к о в. Московская снедь. Хлебы. X., м. 1924

церквей. Также богато были представлены в моей первой коллекции, к несчастью не сохранившейся, копии с картинок из журнала «Нива». Я рисовал с большой отчетливостью, тщательно вычерчивал и выписывал детали картин. И на это уходило все время, которое я должен был посвятить, снажем, закону божию. Рисование, копирование, сведение картинок стало моей второй страстью после техники. Все это было для меня и легче и доступнее евангельских премудростей, не говоря уже о математике.

С грехом пополам, не без благожелательного отношения ко мне учителя, которому мои «художества» не могли не импонировать, весной 1892 года я окончил школу. Родители мои, видимо, уже давно ломали голову — к чему определить мальчонку? Учить? Но, как видит читатель, к учению у меня не было положительно никаких способностей. Я меньше всего, конечно, задумывался над своей судьбой, целое лето наслаждался абсолютной свободой.

Родители промышляли случайными делами. Они занимались мелкой арендой садов, ездили на ярмарки с походной «гостиницей» — попросту, с харчевней. Причем, для поездки с хар-

чевней организовывался коллектив человек 10—12 из среды ближайших родственников и знакомых. Я, разумеется, был одним из главных членов этого коллектива. Торжественно восседал на грудах всякой «небели», которую медленно тащили лошади или быки. Мне было весело и хорошо. Такое разнообразие жизни и все эти путешествия не могли не волновать. Едешь, бывало... кругом зелень, хлеба... самые разнообразные сочетания красок и тонов уже тогда, может быть, полусознательно зажигали мой взор жаждой проникнуть в таинство их переливов, переходов одного цвета в другой.

И вот однажды мы были с «гостиницей» в Филоново на ярмарке. Когда ярмарка кончилась и собирались домой, мне сказали, что я останусь мальчишкой в фруктовой лавочке армянина Сумбатьянца. Так стал я «невольником»... до девятнадцатилетнего возраста, когда случай помог мне выбраться из подвалов на свежий воздух.

Семь с лишним лет тянулись довольно однообразные для меня по своему содержанию дни. Изю дня в день с 7 утра до 9 вечера надо было стоять на ногах. 14 часов!.. Если даже и была свободная минута, то все равно сидеть не полагалось.



Здесь приучали к угодливости и чиновничеству, старались стереть все остатки человеческого достоинства. Начиная от приказчика и кончая «мальчиком», все в магазине должны были быть с покупателями учтивыми, подобострастно изгибающимися. На лице должна была вечно сиять угодливо-подобострастная улыбка. Покупатель здесь был богом, на которого ты должен молиться и чуть ли не целовать башмак, как римскому папе, хотя это и была всего-навсего кухарка какой-нибудь отставной чиновницы или барыньки. Я все это ненавидел.

Что меня спасало и спасло от нравственного и морального растрепания? Любовь к изобразительству, к технике и все более и более возраставшая во мне страсть к рисованию. Разумеется, все это рассматривалось окружающими как никчемность.

На шестнадцатом году я особенно ярко обнаружил в себе тягу к живописи. Новый толчок к этому получил от случайного знакомства с одним гимназистом — сыном директора банка, любителем рисования. Хотя я занимался этим и до встречи с ним, но мои занятия таким никчемным, несовместимым с моим положением делом могли проходить только конспиративно, подпольно («узнают — хуже будет»). Кашлянуть было нельзя! Поздно вечером или рано утром до обедни в воскресный день — посещение обедни было обязательным — я прилаживался где-нибудь в уголке с лампёшкой и выводил... Сначала пользовался только анилиновыми красками.

Подолгу простаивал я около витрины одного магазина, где была выставлена картина «Зима», написанная местным и, конечно, неважным художником. Но тогда эта картина была в моих глазах верхом искусства. Страшно хотелось изобразить что-нибудь подобное. Но кругом была мерзейшая неволя; краски приходилось покупать тайком, чтобы кто-нибудь из своих служащих — «боже упаси!» — не увидел. А для такой картины нужны были масляные краски, о которых я еще не имел и понятия. Знакомство с сыном директора банка помогло мне преодолеть этот барьер. Он научил меня, как достать те краски, которыми пишут на холсте. По газетному объявлению я выписал, наконец (разумеется, тоже украдкой), ящик масляных красок. Деньги у меня были, ведь меня, кроме этого, ничто не интересовало, за исключением еще музыки. За время жизни «в людях» я купил себе трехрядную гармонь за 24 рубля, а остальные деньги откладывал, будучи очень бережливым. Эти-то деньги я и стал расходовать на выписку масляных красок. Работа закипела — тайная, всеми преследуемая.

Как раз в это время в семье нашей, жившей очень неважно, произошло новое большое несчастье. В 1896 году отец простудился и умер, оставив на руках у матери, помимо меня, восемь душ детей.

Смерть отца совершенно не повлияла на мое положение; она не нарушила ни моей «самостоятельности», ни течения моих нравственных и физических пыток. А пытки эти порой доходили до диких размеров. Я боялся всех и вся, упорно продолжая свою подпольную работу. У меня за эти годы скопилось множество живописной продукции, главным образом копий с найденных в журналах картин.

В моей судьбе на девятнадцатом году жизни благодаря счастливой случайности наметился тот перелом, который и привел меня в конце концов на путь живописного искусства. Мою работу заметил — может быть, благодаря гимназисту, сыну директора банка, которому я показал свои произведения, — учитель рисования Борисоглебской мужской гимназии Евсеев Николай Александрович. Он сразу же оценил и одобрил мою работу и заговорил о том, что мне надо учиться.

— А разве есть такие школы, в которых этому учат? — задал я ему в изумлении наивный вопрос.

— Да, конечно, — ответил он. — Вот я, например, учился. В Москве есть школа живописи, ваяния и зодчества, которую я окончил.

Он назвал профессоров, у которых учился. Но имена Перова и других мне ничего не говорило. Вот о Репине я слышал! Я прочитал однажды небольшую брошюру о Рафаэле, который представлялся мне почти в неземном, нереальном виде: его мадонны и богини были для меня чем-то недоступным и таинственно священным. Но о других художниках я не слышал ничего.

Однажды, в один из воскресных дней, Евсеев пригласил меня к себе. Надо сказать, что к этому времени в положении торговых служащих произошли некоторые перемены, несколько улучшившие их бытовое положение: мы получили сокращенный воскресный рабочий день. Вот почему я мог располагать уже большим свободным временем.

Его работы произвели на меня исключительное впечатление. Провожая меня, он снова начал говорить о необходимости учебы и даже обещал поддержку. Это меня настолько ободрило,

что я тотчас же решил, не останавливаясь ни перед чем, добиваться поступления в школу живописи, и не в какую-нибудь, а именно в Московскую. Я решил обязательно во что бы то ни стало быть художником; знал, что будут, вероятно, трудности, но их размеров, конечно, и не подозревал. Я спал и видел себя в каком-то чудесном мире, который, по сравнению с тем холуйско-хамским, державшим меня в своих руках, представлял что-то несбыточное, невообразимое, радостное и светлое.

До встречи с Евсеевым, который оказался к тому же еще и земляком, все толки и страстные стремления к искусству не находили выхода. Я был в подвале душном и смрадном. Передо мною стояла несокрушимая стена. Я просто не знал, существует ли выход из подвала, из темноты на вольный свет. Оказывается, он есть! И его указал мне впервые Евсеев. Его разговоры со мною и сведения, которые я получал от него, открывали перспективу и вселяли уверенность в свои силы. Я уверовал страстно и беспредельно в возможность поездки в Москву. Да и что я терял! Абсолютно ничего. Я получал к этому времени 70 рублей жалования в год. В направлении торговой деятельности был бездарен, перспективы здесь у меня не было никакой, к тому же была органическая брезгливая ненависть как к самой торговой службе, так и к среде, в которой предстояло вращаться весь век. Интуитивно рвался я к чему-то иному: представление о какой-то благородной деятельности жило глубоко во мне — о такой деятельности, где не было обвешивания, обмеривания, обмана. Поэтому мечта об искусстве жила во мне как что-то волшебное, святое, Желание держать экзамен в школу живописи и выдержать его во что бы то ни стало заслонило весь остальной мир.

Мой шеф взялся подготовить меня по искусству, познакомиться с основами живописи, подучить. Я взял расчет. Все равно после столкновения с помощником старшего приказчика меня должны были прогнать при первом же удобном случае. Окколо трех месяцев, живя на сбережения, я работал под руководством моего учителя — рисовал с натуры, с гипсовых моделей (орнаменты, античные головы). Брал их по рекомендации Николая Александровича из гимназии и списывал с них, насколько хватало выдержки и терпения. Но уже очень скоро почувствовал, что мой учитель не только мало дает мне, но и сам слаб в рисовании. Это особенно наглядно было, когда он пытался поправлять меня. Я явно перерастал своего учителя. Работал жадно, почти уже не интересуясь его мнением, старался изо всех сил. К концу трехмесячной учебы он оставил всякие попытки поправлять меня, много говорил о моей одаренности, однако это меня не только не успокаивало, а, наоборот, еще больше разжигало мою страсть. Мне ведь предстояло держать конкурсный экзамен!

Сам Н. А. Евсеев окончил Московскую школу живописи, ваяния и зодчества за 25 лет до этого. Он говорил, что поступить в нее сравнительно легко и свободно, но... не учитывал тех изменений, которые произошли за два с половиной десятилетия. Когда я поехал первый раз в Москву, чтобы познакомиться с условиями приема и подать прошение о допущении к экзамену, то узнал, что на 27 вакантных мест имеется... около 300 претендентов! Я упал духом. Поступить при таком наплыве мне, человеку мало подготовленному и почти неграмотному, — это казалось вещь совершенно невозможной. Но Николай Александрович успокаивал меня: главный предмет конкурса — рисование, а не общее образование.

Мать, разумеется, еще ничего не знала. Я поехал раньше в Москву с намерением готовиться к экзаменам. На карту были брошены все мои маленькие сбережения. До экзаменов оставалось 11 дней. Мне порекомендовали художника Прокоповича Алексея Афанасьевича. Но когда я обратился к нему с просьбой поучить меня, он замахал руками: «Что вы, молодой человек! Какая же подготовка за 10 дней!» Но так как я настойчиво просил, он в конце концов согласился. С раннего утра до поздней ночи работал я у него, а потом у себя в номере на Домниковке, который мне стоил 60 копеек в сутки. Вопрос ведь стоял о жизни и смерти в буквальном смысле. Уставал страшно. Ночью падал от утомления на койку, засыпая на несколько часов, и едва займется утро, уже вскакивал: не проспал ли? Нервы мои находились в постоянном напряжении. Малейший стук — и я просыпался.

22 августа 1900 года начались испытания. Длились они 4 дня. Эти дни прошли как в лихорадке. Меня натурально знобило, тряслись поджилки. Решалась моя судьба. Я был болен: у меня не было ни аппетита, ни сна. Я не был религиозным, последние годы в церковь не ходил, но теперь надвинулся такой ужас и страх, что я не знал, к чему только прибегнуть и у кого просить помощи. Безумное желание попасть в школу погнало меня к Иверской божьей матери. «Может быть, это поможет!» Я был здесь совершенно одинок: ни друзей, ни зна-

номых. Отнес божьей матери 20 копеек: она была единственным «существом», известным мне в огромном городе, где я чувствовал себя мельчайшей пылинкой.

26 августа в торжественной обстановке в актовом зале школы в присутствии профессоров, начальства и духовенства директор школы князь Львов, брат известного потом премьер-министра Временного правительства, поднялся на трибуну, чтобы объявить список принятых. Пышность, торжественность обстановки, мундиры, ордена — все это так поразило меня, глубокого провинциала, что я стоял как оглушенный, забившись в дальний угол огромного зала, наполненного моими соперниками и их родичами. Не верил своим ушам, когда прозвучала моя фамилия. Я зачислен, я студент! И все же не верилось: неужели это так? А вдруг там передумают, перерешат. Тем не менее мои волнения сразу же кончились. Лихорадка, в которой я находился, мгновенно прошла. Болезненного состояния (до ломоты в костях!) будто не бывало. Я был как сумасшедший. По дороге в номер бросился на шею какому-то прохожему. Я не преувеличиваю — так и было. Человек этот опешил и смотрел долго мне вслед, недоумевая.

С этого момента начинается моя особенно счастливая жизнь. Я понимал и чувствовал, что предстоят колоссальные трудности как в учебе, так и в материальном отношении, хотя первый перевал и был взят с бою. Особенно волновала меня слабая подготовка по общеобразовательным наукам. Мне предстояло сдать зачеты по тридцати предметам, вплоть до церковной археологии. Материально я был никак не обеспечен. Мать, узнав о моих успехах, была рада помочь, но помощь ее могла быть очень незначительной: у нее и помимо меня был полон рот забот.

И вот все эти задачи встали передо мной во весь рост сразу же, с первых дней учебы. Взяв первый перевал, я увидел за ним новый, еще более крутой.

Весь первый год учебы прошел с большим напряжением. Даже в дисциплинах по искусству я едва натягивал на удовлетворительно. Но не только неподготовленность и материальные трудности мешали мне в этот год. Главное, пожалуй, было в другом: я весь был заполнен глубокими и сильными переживаниями, осваивал волнующую и сказочную обстановку и новую среду. С огромной жадностью и интересом впитывал я в себя московскую жизнь, людей, культуру, театры, музеи, картинные галереи, выставки и т. д. Но главное, о чем я мечтал, едучи в Москву, мне увидеть не удалось. Я мечтал, что увижу Репина и буду у него учиться. После того, как я уже был зачислен в школу живописи, я задал кому-то из студентов старших курсов этот волновавший меня все время вопрос: кто сейчас самый знаменитый художник? Я наивно ожидал, что мне ответят: «Репин»... Но мне назвали Серова. Я был смущен и сконфужен. О Серове я до этого времени ничего не слышал. И мне, я помню, никак не хотелось примириться с мнением, что Серов лучше Репина. Правда, тут было недоразумение: конечно, в Москве Серов играл первую скрипку, ибо... Репин гремел на всю Россию и на весь мир, но из Петербурга.

Я почти не выходил в тот первый год из музеев. Изучил все уголки в Третьяковке и в Румянцевском музее (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).

Больше всего я отдавал чувства Репину и потому Третьяковку посещал чаще. Колорит его картин казался мне самым верным и самым правильным. В Третьяковской галерее и в Румянцевском музее была представлена почти вся история русского и западного искусства. Федотов, Венецианов, Брюллов, Иванов, Левицкий, Боровиковский, Тропинин, Кипренский шли в глубь веков российской живописи. Рядом с ними шествовали мастера средних веков. Все их произведения, и в том числе произведения великого Рембрандта, казалось, имели чисто историческую, старинную и потому неполновесную художественную ценность. Невольно они сравнивались в сознании с археологическими редкостями, с черепами, костями и утварью людей давних времен. Я был еще так наивен и так мало искушен в искусстве, что иногда мне казалось, будто произведения студентов старших курсов — ученические опыты! — более правдивы, чем произведения этих мастеров, что они более близки к таким художникам, как Репин и его современники. А произведения К. Коровина и И. Грабаря, которые мне приходилось видеть на выставках молодых художников, устраиваемых «Миром искусства», производили на меня уже тогда огромное впечатление.

Я верил в свои силы и в свою способность работать, не щадя сил. Для достижения поставленной цели — вершины искусства блистали перед моим взором ослепительным светом! — я готов был отдать всего себя, свое здоровье и даже жизнь.



М. Малютин.  
Молодая учительница.  
X., м. 1959.

ВЫСТАВКА  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»